**Ирина Иваськова, г. Анапа**

**АТЕЛЬЕ «ЗИМА»**

Снег пошёл ночью – густой, но лёгкий, будто бы не настоящий. Усердно засыпая газоны, справиться с потоком утренних прохожих он не сумел, и ярко чернел теперь мокрый асфальт тротуаров между пышных, не тронутых таянием снежных полотен.

По чёрному, блестящему Ане шагалось легко и весело. Вдыхая влажную холодную чистоту и выдыхая облачка тёплого почти невидимого пара, она любовалась крупными хлопьями, похожими на обрывки бумажных салфеток, и даже улыбалась от удовольствия. Утренние прохожие Аниной радости не разделяли, сердились и спешили; только мелкий лохматый пёс прыгал в снегу то ли по-беличьи, то ли по-лисьи, вылавливая невидимую никому добычу, весело взлаивая и не обращая никакого внимания на жалобный хозяйкин зов.

Аня представила, как мокрый пёс возвратится домой, будет умыт, обсушен и накормлен, и уснёт крепко где-нибудь на диване – и тут же захотела стать хотя бы на минутку и этим псом, и его укутанной в пухлую куртку хозяйкой, и мокрым асфальтом, и даже деревом, аккуратно упрятанным каждой своей веткой в снежный чехол. И ей показалось, что все люди вокруг – пусть хмурые, сонные – были снегом украшены и очищены, и будто бы прощены.

– Аня! – мужчина в чёрном пальто остановился перед ней внезапно и близко, заслонив собой и блеск асфальта, и трепет снежных хлопьев, – Анька…

Счастливым свойством своей памяти Аня всегда считала лёгкость, с которой не забывалось, но изменялось в её сознании всё, давно случившееся. С недоумением вспомнилась ей девочка, шедшая когда-то по такой же свежезаснеженной улице к трамвайной остановке. Вспомнилось всё, бывшее тогда вокруг: и красные трамвайные бока, и птичья драка над горстью семечек, и тётка, торгующая сигаретами поштучно - сизолицая, пьяненькая. Вспомнился и прежний спутник – пальто на нём тогда было светлое, слишком тонкое для ноября, но он не мёрз, уверяя Аню, что может ходить и вовсе без верхней одежды в любой мороз. Аня там тоже была – да, если сосредоточиться, можно выглянуть из той девчонки, как из окошка пустой комнаты, и увидеть свои рукавицы, острые носки сапожек и тёмные, слегка вьющиеся прядки чёлки, мелькающие у глаз. Но мысли и чувства той девочки виделись теперь чужими – чёткими, ясными, но абсолютно отдельными, будто написанными в тетрадке чьей-то незнакомой старательной рукой.

«Я очень его любила, – прочитала внутри себя сегодняшняя Аня, – мне было двадцать, и я очень любила его. И мы куда-то ехали. Сначала на трамвае, потом на автобусе. И зима была ранняя, и очень снежная – вот как сейчас…».

Бестолковая суета – обнять, поцеловать, пожать руку? – и взаимные неловкие возгласы – как я соскучился, как ты, где же ты пропадал? – скоро сменились молчанием.

Они шли рядом, и Аня изредка поднимала на него глаза. Опуская взгляд, чувствовала, что он разглядывает её тоже. Сначала она смущалась и прятала подбородок в шарф, но после – с непонятным чувством торжества расправила плечи.

«Он же очень высокий – как я забыла… И всегда говорил мне, что когда мы идём рядом, он видит только мою макушку…».

Ане же снизу очень удобно было смотреть и сравнивать – тогда бороды он не носил, а теперь у него была бородка, и какая-то странная, будто бы выцветшая.

«Да это же седина… – сообразила Аня и засмеялась от собственной недогадливости. – Двадцать лет прошло…».

– Почему ты смеёшься? – спросил он и, не дожидаясь ответа, предложил зайти к нему в офис – тут, совсем неподалёку.

Офисом оказалась маленькая комнатушка – одна в ряду плотно прижатых друг к другу пластиковых ларьков-магазинчиков со сладостями, детскими мелочишками и дешёвой косметикой.

– Заходи, – сказал он, впустил Аню внутрь и нашарил на стене выключатель. В комнатушке пахло старым шкафом и сладкими духами; небрежно свернутые вещи заполняли узкие полки стеллажей, а в углу, на столе, под прикрытием клетчатого платка угадывалась швейная машинка.

– Ты шьёшь что ли? – спросила Аня и смутилась – вопрос вышел грубоватым.

– Это жена, – ответил он, и добавил торопливо, будто бы Аня собиралась уйти, – её нет, она уехала на неделю. – А я так, помогаю иногда, заказы отдаю или ещё что тяжёлое нужно отнести.

Ане стало жарко, она расстегнула пуховик, развернула шарф и сняла шапку. Она чувствовала, что морозный румянец оставляет её лицо, и не улыбалась больше. Снежная свежесть, жившая в ней ещё пару минут назад, теплела, бледнела, таяла.

– Господи, Анька… – сказал он и прижал Аню к себе. – Иди сюда. – И потянул её в угол, в огороженную шторкой примерочную.

\*\*\*

Снег шёл четыре дня. К вечеру слабел, превращался в свете фонарей в мелкие чёрные точки, потом возвращался с новой силой, а утром, в безветренном молчании, падал ровно, редко и светло. Не было уже чёрных, блестящих тропинок на асфальте, но спрессованная снежная корка ещё не упрятала тротуары в непобедимую броню и толком не холодало даже ночью.

Прежней жизни тоже не было. Прежнюю жизнь эти четыре дня отменили – и снегом, и новой, но будто бы ещё не наступившей по-настоящему зимой. И новая жизнь тоже никак не наступала, оставив Аню где-то в неопределённой пустоте, ничего не объясняющей и не обещавшей. Аню уже не радовала собственная отрешённая беспамятность – а вдруг, думала она, было что-то важное в тех долгих поездках по городу и пригороду, в той бесконечной толчее и тряске, когда она упиралась виском в его пальто и смотрела в окно. О чём ей тогда думалось? Чего хотелось? И вообще – куда они всё время ехали и почему так внезапно расстались?

Выпутываясь из цветастой шторки, закрывающей примерочную, Аня слушала своё бьющееся, но уже успокаивающееся сердце и снова спрашивала:

– Ты так и не вспомнил, куда мы с тобой постоянно мотались?

Он качал головой – и Аня вдруг до одури пугалась сочетания его седеющей бороды и смуглых голых плеч. А потом в дверь ателье стучали, дёргали ручку, и она торопливо одевалась, хохоча и подпрыгивая на одной ноге в попытке натянуть колготки. Потом выходила на улицу, поднимала лицо, чтобы колючие снежинки хотя бы немного охладили её горячие щёки, и неслась на работу почти бегом.

– Жена возвращается в воскресенье, – сказал он на пятый день снегопада. – В субботу мастерская обычно не работает, но я всё равно приду. И ты приходи, сможешь? Дома не будет проблем?

О его жене Аня ни разу не задумывалась. Жена существовала где-то далеко, подразумеваясь, но не мешая, но теперь вдруг становилась неотменяемой - настоящим живым человеком, с которым придётся как-то считаться. Ане очень хотелось думать про неё плохо, но не получалось – мешали сочувствие и дурацкая беспомощность, от которых всё становилось маленьким и жалким, и хотелось разозлиться, но никак не выходило, потому что злиться было не на кого. Что-то тяжёлое, неловкое разрушало хрупкую временную снежность и требовало каких-то действий и слов, требовало каких-то объяснений. Нельзя же будет, в конце концов, сделать вид, что ничего не было, жить дальше эту зиму и ждать далёкую, невозможную весну. На его простые вопросы: «сможешь?», «не будет проблем?» можно было ответить: «не смогу», «будут» или «приду», «мне всё равно». Но тяжёлое и неловкое всё равно не исчезнет, этих простых ответов будет недостаточно, и придётся думать и отвечать ещё.

– Я не знаю, – сказала Аня. – Подожди. Нет, не надо. Я опаздываю.

Выходя, она оглянулась – вроде ничего не забыла. Высокий мужчина у швейной машинки показался ей незнакомым, и даже странно было подумать, что вчера она хохотала рядом с ним – босая, но в свитере. Ещё дальше отодвинулась от Ани двадцатилетняя девчонка в остроносых сапожках. Были же трамваи… Птицы… Были – но будто не с ней.

\*\*\*

В субботу объёмные, набитые снегом тучи ушли на юг, и небо сделалось пустым и бледным. Город покрылся серой морозной дымкой – верной приметой настоящей зимы; за городом, в мёртвых районах недостроенных многоэтажек, эта дымка сгущалась в плотный, медленно движущийся туман.

«Мы ехали и ехали… – вспоминала Аня, проснувшись, но не открывая глаз, – а сначала долго ждали автобус на остановке. Быстро темнело, не наши автобусы проезжали мимо, в них горел жёлтый свет, и от этого казалось, что внутри будет тепло, как дома. Но внутри никогда тепло не было, и ноги у меня постоянно мёрзли – постой-ка сначала на снегу, а потом на ледяном автобусном полу. Была какая-то общага за сосновым лесом, у горы… Промерзший дачный домик… И ещё квартира в пригороде, почему-то свободная только на выходных. На втором этаже, в старой пятиэтажке. А внизу – ателье… Оно ещё как-то называлось…», – и Аня вдруг вспомнила, что ателье называлось «Зима», и его высокую стеклянную витрину украшали две толстошкурые каракулевые шубы, серые от моли и пыли. Над шубами висели лохматые шапки, и в сумерках казалось, что за стеклом неподвижно стоят два человека без рук, ног и лиц.

Она вздрогнула от этого резкого, как удар, толчка памяти, и странного соответствия висевшей когда-то над витриной металлической вывески всему, что происходило с ней сейчас – соответствия то ли насмешливого, то ли сочувственного; и полудрёма окончательно оставила её – нужно было спешить. «Не будет ли дома проблем, – спрашивал он. – Да какие могут быть проблемы в пустом, совершенно пустом доме…». Через пятнадцать минут Аня уже бежала по отвердевшему снегу, оскальзываясь, чертыхаясь и удерживая себя от падения широкими резкими взмахами рук.

Комнатушка швейной мастерской была закрыта. Аня повернула ручку раз, другой, постучала, собралась было и покричать, но осеклась под любопытным взглядом женщины из кондитерской напротив.

Он догнал Аню за углом, и ей стало стыдно оттого, что он – такой высокий, с бородой - сначала прятался как маленький, потом бежал за ней, а теперь держит под локоть как ни в чём не бывало, но ничего, кроме этой короткой поддержки, ни в прежнюю, ни в новую Анину жизнь принести уже не сможет.

Они свернули в переулок – на серый, присыпанный песком лёд, и пошли медленней, ещё держась друг за друга. Аня перебирала подходящие для прощания слова – спасибо? я люблю тебя? я тебя любила? – и чувствовала, как её прозрачная стремительная беспамятность замедляется и становится тёплой, светлой, почти белой – не снежного, но молочного цвета. Всё, наконец, становилось Аниным – и давние встречи, и нынешний ноябрь, и она сама, наконец, становилась своей, нужной и полноправной.

«Вот и приехали, – думала Аня. – Вот и хорошо».

Девочка с кудрявой чёлкой выглянула из неё, как из окна, огляделась и осталась – вместе со всеми своими страхами, любовью и новой, как зима, надеждой на лучшее.

**УПРУГОСТЬ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК**

– Ты посмотри! Посмотри только! – Ромашин смеялся и тряс передо мной растрёпанной книжкой с оранжевой обложкой. – «Некоторые вопросы теории ползучести»!

Он повалился на стул и прижал книжку к груди.

– Ух… Ползучесть! Отнесу домой, покажу Сонечке. Она такие штуки любит. Никогда эту химию не понимал, но тут – прямо проникся.

– Это физика, – сказала я, но он снова засмеялся и меня не услышал.

Оказалось, что неведомый шутник разбросал старые университетские учебники по всему этажу. На подоконнике у лифта нашли «Теорию колебаний», а в мужском туалете, у раковины – «Термоупругость тонких оболочек». Колебания Ромашину отчего-то не приглянулись, а вот тонкие оболочки привели в восторг. Он насочинял корявых стихов, врывался в кабинеты, поднимал вверх руку и декламировал – с завыванием и пылом.

*Термоупругость тонких оболочек*

*Мне не даёт покоя никогда,*

*И я…*

Но дальше не выдерживал, хохотал и убегал в коридор, хлопнув дверью.

Я досиживала в офисе последние две недели, и в начале февраля должна была уехать из своего города навсегда – далеко-далеко, на юг. Там ждал меня любимый друг – так он называл себя в электронных письмах, и я никак не могла понять, зачем, куда и к кому я отправляюсь так скоро. Никак не получалось представить себе зимний курортный городок, в котором я была только летом, и который теперь видела каждый день на фотографиях. И никак нельзя было осознать, что тут без меня останется целый мир – угрюмый и шумный, покрытый многослойным одеялом из почерневшего снега, мороза и смога.

Работать толком я уже не могла, но что-то писала и распечатывала, относила начальнице и послушно исправляла перечёркнутые красной ручкой страницы, слушая и не понимая ни слова. На меня махнули рукой – что взять с уже нездешнего, почти исчезнувшего человека, и делили между остающимися мой компьютер, стол и шкафчик с пластиковыми папками. Я и сама чувствовала себя полупрозрачной и ненастоящей, не нужной толком ни здесь, ни там, где второго января зацвёл миндаль, а на рождество шёл долгий, тихий дождь. По ночам мне снилось, как я сажусь в поезд и растворяюсь где-то между Екатеринбургом и Челябинском, а друг всё пишет и пишет мне на рабочую почту, шлёт свои фотографии, а они тихо-тихо, как зимний дождь, падают в спам.

Ненадолго возвращал меня в реальность только Ромашин – шумом, неуклюжестью и бесконечными рассказами о сестрёнке Сонечке. Весь офис знал, что десять лет назад Ромашин приехал в город из деревни, отучился, нашёл работу и забрал к себе сестру.

– Чего ж ей, киснуть там, в глуши? – волновался он, – а здесь город, чисто. Культура!

Над ним посмеивались – говорил он, как старик из советского фильма, одевался по-дурацки, обедал прямоугольными кусками хлеба вприкуску с розовой колбасой, и всё рассказывал, рассказывал про свою Сонечку.

Я никогда его внимательно не слушала, но всё равно знала, что Соня разводит аквариумных рыбок, не любит математику и собирается учиться на врача. И эта чужая, далёкая жизнь, передвигающаяся параллельно моей, казалась мне знакомой и родной; и поэтому ромашинские хохот и прыжки никогда меня не раздражали. Мне только было немного жаль его – нас всех ждало какое-то солнечное, переливающееся будущее, и квадратные комнатушки офиса были лишь первой ступенькой к счастью, а ему – нелепому, в глупых ботинках, оставалась лишь сестра и бесконечные разговоры о ней.

– Смотри-ка! – Ромашин шлёпнул передо мной на стол коробку с разноцветными пряниками-снеговиками. – Какая красота! Соню порадую, она обожает снеговиков, у неё даже пуховик такой есть – синий, а на спине снеговик нарисован. Представляешь?

Я кивнула, очень хорошо представив себе пухленькую старшеклассницу в огромном пуховике, и огорчилась немного. Как я там, на юге, буду совсем без снега?

– Это тебе, – сказал вдруг Ромашин, достав из коробки пряник. – Не грусти. Всё непременно будет хорошо.

И унёсся к себе в кабинет – крохотнуюполукладовку в самом конце коридора.

Пожав плечами – надо же, подарок от Ромашина! – я открыла почту и принялась рассматривать новые фотографии от любимого друга – залитую дождём набережную, жемчужно-серое море, пустые скамейки у воды и круглые шары-фонари из тонкого прозрачного стекла. «Термоупругость тонких оболочек» – вспомнила я и подумала, что эти слова и вправду очень ловко могли бы уложиться в строчку стихотворения о весне и будущих листьях, упрятанных в нежные зелёные почки. Мне захотелось так же, как Ромашин, забежать в соседний кабинет к бухгалтерам и прокричать что-нибудь про оболочки, подвывая на гласных буквах и еле сдерживая смех. Я вдруг позавидовала Сонечке – должно быть, ей никогда не бывает скучно, грустно и страшно.

– Какая хорошая девочка, – прошептала я, стараясь думать о своём солнечном будущем и непременном счастье. Ну и пусть начнётся оно с зимнего дождя. Но миндаль-то, миндаль – зацвёл второго января, видели вы когда-нибудь такое?

Вернувшись домой, я бродила туда-сюда, стараясь вести себя уверенно, по-хозяйски, но не могла обмануть ни холодильник, ни ванну, ни даже кровать. «Тебя скоро здесь не будет, – шептали они, – тебя почти уже нет…». Тогда я открывала шкаф, смотрела на ровно, покойно висящие на плечиках шёлковые блузки и гладила их по пустым рукавам.

\*\*\*

– Знаешь, что, – сказала я утром в четверг, поймав несущегося мимо Ромашина за полу пиджака, - ты приходи ко мне сегодня после работы, часов в восемь. Я уеду через три дня, одежду перебираю и всё с собой брать не хочу. Может быть, что-то твоей Сонечке подойдёт?

Он смутился, засмеялся было, но потом нахмурился, кивнул, записал мой адрес и ровно в восемь уже торчал на пороге, никак не решаясь войти.

– Ну, чего ты встал? Заходи, – сказала я, уже не радуясь своей внезапной щедрости, но тут же жалея Ромашина за смущение и общую несуразность.

Ромашин разулся и пошёл по комнатам, легонько трогая стены, а я смотрела ему вслед и не могла понять, почему он выглядит так непривычно. Потом сообразила, что ни разу не видела его в носках. «Больше и не увижу!» – подумала я, и от этого развеселилась.

– Вот, – сказала я ему и распахнула шкаф. – Это всё мне точно не нужно. Твоя Сонечка какой носит размер? И вообще, чего ты её с собой не взял? Сразу бы и примерила.

Он как-то неопределённо махнул рукой и промычал что-то невнятное, не отрывая глаз от предаваемых мною платьев – не видать им далёкого юга, и судьба им остаться здесь, в неведомых Сонечкиных руках. И тут я вспомнила, что ни разу не видела не то что самой Сони, но даже её фотографии, и ни разу она не приходила к Ромашину на работу, и ни разу, по крайней мере, при мне, он не говорил с ней по телефону, да и вообще не звонил никому и никогда.

А Ромашин всё смотрел в шкаф, не хохотал и не метался, и не рассказывал ничего – ни о сестре, ни обо мне, ни о теории ползучести, ни даже о пряниках-снеговиках. Мне вдруг стало неуютно и страшно, и очень захотелось наконец-то оказаться подальше от этого города с его космическим людским одиночеством и беспощадной, бесконечной зимой.

– Ну же? – прошептала я, – что-то же ей подойдёт? – и испугалась ещё больше при мысли о том, что он сейчас действительно может заговорить.

\*\*\*

На следующий день Ромашин на работу не пришёл, и на звонки никому не ответил. И последний день в офисе, что мне остался, был наполнен общим недоумением и пересказами того, как парнишка-курьер прибежал к Ромашину домой, звал и стучал без толку, а после позвонил в соседнюю дверь и узнал, что Ромашин со вчерашнего вечера дома не появлялся, и что никакой сестры у него нет, и что живёт он тихо и совсем один.

А в воскресенье я уже смотрела на толстое, надёжное стекло вагонного купе, и никак не могла сфокусировать взгляд на том, что мелькало за окном. Неслись мимо меня смутные заснеженные поля – белые, серые, чёрные полотна без дорог и следов, гремело вагонное железо, оживлённо переговаривались попутчики, и мне казалось, что я – будто бы после долгой обездвиженности и тишины – тоже очень оживлена и подвижна.